

Дом с привидениями

В какой час ни проснись, первое, что ты слышал, — звук захлопнувшейся двери. Из комнаты в комнату шли они, рука об руку, поднимая тут, открывая там, проверяя — пара призраков.

«Вот, здесь же оставили», — говорила она. «Ой, и тут тоже», — откликнулся он. «Наверху», — пробормотала она. «И в саду», — прошептал он. «Тихо, — сказали в унисон, — не то мы их разбудим».

Но это не вы разбудили нас, о нет. «Ищут, отдернули занавеску, — скажет кто-то и прочтет еще пару страниц. — Вот, теперь нашли», — уверенно кивнет и остановит карандаш на полях. А потом, устав от чтения, поднимется, чтобы пойти и убедиться воочию: дом пуст, двери распахнуты, слышно только довольное воркование голубей да звук работающей на ферме молотилки. «Зачем я здесь? Что я ищу?» Руки пусты. «Может, все-таки наверху?» На чердаке яблоки. Так что снова вниз. Сад, как всегда, неподвижен, и только книга соскользнула в траву.

© Перевод. А Попов.

Но в гостиной они наконец-то это нашли. Хотя никто и никогда их не видел. В окне отражались яблони, отражались розы, сквозь стекло все листья казались зелеными. Если они были в гостиной, яблоко поворачивалось желтым боком. Но всего через мгновение, если дверь открыта, что-то развешено по стенам, расстелено по полу и маятником свисает с потолка — но что это? Руки пусты. По ковру пронеслась тень дрозда; из глубин тишины всплывает булькающее воркование голубя. «Здесь, здесь, здесь», — мягко пульсирует весь дом. «Сокровище надежно спрятано; комната...» — пульсация резко оборвалась. Значит, тут спрятано сокровище?

В следующее мгновение свет померк. Снова в сад? Но деревья ткнут сети тьмы и ловят заблудившийся лучик солнца. Такой тонкий, такой редкий, тихо погружившийся в глубину, лучик, что звал меня, вечно горел за стеклом. Смерть была стеклом; смерть стояла между нами; забрала сначала женщину, сотни лет назад, оставляя дом, запечатывая окна; погружая комнаты во тьму. Он покинул дом, покинул ее, отправился на север, на восток, видел перевернутые созвездия в южном небе, искал дом, нашел его — вернувшись. «Здесь, здесь, здесь, — радостно забило сердце дома. — Сокровище — твое».

Ветер проносится по аллее. Деревья гнутся и раскачиваются туда-сюда. Лунный свет плещется в каплях дождя. Но из окна тянется путеводный лучик фонаря. Свеча горит ров-

но и неподвижно. Бродят по дому, открывают окна, шепчутся, чтобы не разбудить нас — пара призраков в поисках своего счастья.

«Здесь мы спали», — говорит она. «Бесчисленные поцелуи», — эхом откликается он. «Проснувшись с утра...», «Серебро меж ветвей...», «Наверх...», «В сад...», «Когда наступило лето...», «Когда выпал снег...». В отдалении хлопают двери, по очереди, ритмично, словно бьется сердце.

Они приближаются, замирают в дверях. Ветер стихает, серебро дождя течет по стеклу. В глазах темнеет; но рядом не слышно шагов; не видно женщины, стирающей свой призрачный плащ. Его руки заслоняют свечу. «Смотри, — шепчет он. — Крепко уснули. С любовью на устах».

Склонившись, высоко подняв над нами серебряный фонарь, смотрят они долго и пристально. Надолго замирают. Тянет сквозняком, пламя свечи клонится. Лучи лунного света пугливо мечутся по полу и стенам, скользят по склонившимся лицам, задумчивым лицам, которые изучают спящих, ищут свою сокрытую радость.

«Здесь, здесь, здесь», — сердце дома бьется гордо. «Столько лет», — вздыхает он. «И ты снова меня нашел». «Здесь, — бормочет она. — Во сне; читая в саду; смеясь, перекатывая яблоки по чердаку. Здесь мы оставили наше сокровище». Склонились. Свет их фонаря проникает сквозь веки. «Здесь, здесь, здесь», — пульсация оглушает. Просыпаюсь с криком: «Так это *ваше* — спрятанное сокровище? Свет в сердце».

Понедельник иль вторник

Лениво и безразлично, легко стряхивая пространство с крыльев, уверенно пролетает цапля в небе над собором. Бледное и далекое, замкнутое в себе, бесконечное небо одновременно скрывает и открывает, движется и остается недвижимым. Озеро? Затенить берега! Гора? О, великолепно — позолотить склоны солнцем, залить водопадами. Папоротники или белые перья, дальше, дальше, покуда хватает глаз...

Стремясь к истине, ожидая ее, тщательно выщипывая редкие слова, вечно стремясь — (Слева слышится крик, потом другой — справа. Колеса идут вразнобой. Омнибусы сталкиваются.) — вечно стремясь — (Двенадцатью четкими ударами часы безапелляционно объявляют полдень; свет роняет золотую чешую; толпятся дети.) — всегда стремясь к истине. Пламенеет купол; монеты-листья на деревьях; дым из труб; лай; возглас; выкрик: «Купите утюг» — а истина?

Всюду мужские ноги и женские, черные или позолоченные — (Ну, и туман. — Сахару? —

© Перевод. А Попов.

Нет, спасибо. — Содружество будущего.) — отсветы огня пляшут на стенах, окрашивают комнату в красный, но ничего не могут сделать с темными фигурами и блестящими глазами, пока снаружи разгружается фургон, мисс Тингамми пьет чай за конторкой, а зеркальная витрина хранит шубы...

Щегольски, невесомо скользит по углам и между колес, в брызгах серебра, дома или нет, собрано разрозненно, разлетевшись на чешуйки, вверх и вниз, вместе и врозь, объединяясь — истина?

Пора вспоминать у камина, глядя на квадрат белого мрамора. Из белоснежных глубин поднимаются слова, теряя черноту, распускаются и проникают. Книга упала; в пламени, в дыму, в мгновенной россыпи искр — или сейчас в странствиях, мраморный квадрат, минареты, скрытые водами восточных морей, подвижная синева и мерцание звезд — истина? или довольствоваться приближением к ней?

Лениво и безразлично цапля летит обратно; небо скрывает звезды, потом обнажает.

Ненаписанный роман

Вид у нее до того несчастный, что его одного достаточно, чтобы перевести взгляд с газеты на лицо этой бедняги — решительно ничем не примечательное, не будь оно до того несчастным, а так — чуть ли не символ удела человеческого. Жизнь — то, что видишь в глазах людей; жизнь — то, что они узнают, а раз узнав, как ни тщись они скрыть, им никогда не забыть — чего? Скорее всего того, что жизнь есть жизнь. Пять лиц напротив — пять взрослых лиц, — и какой опыт стоит за каждым! И все стремятся утаить его — вот ведь что удивительно. На всех лицах меты сдержанности; губы сжаты, глаза прикрыты, все силится утаить или умалить свой опыт. Один курит; другой читает; третий проверяет записи в блокноте; четвертый изучает карту железной дороги на противоположной стене, а пятая, пятая ничего не делает — вот в чем весь ужас. Она смотрит на жизнь. Бедняга моя незадачливая, не нарушай условий игры — ну, пожалуйста, ради всех нас, таись!

© Перевод. Л. Баспалова.

Словно услышав меня, она подняла глаза, заерзала, вздохнула. Казалось, она разом и просит у меня прощения, и говорит: «Знали бы вы». И снова стала смотреть на жизнь. «А я знаю, — без слов ответила я, приличия ради опустив глаза в «Таймс». — Знаю все. «Вчера в Париже подписан мирный договор между Германией и державами Антанты... Синьор Нитти, итальянский премьер-министр... В Донкастере произошло столкновение пассажирского поезда с товарным...» Все мы знаем — «Таймс» знает, но прикидываемся, будто не знаем». Взгляд мой опять скользнул поверх газеты. Она перевернулась, вывернув руку, почесала между лопатками и покачала головой. И вновь я окунулась в великий источник жизни. «Что ни возьми, — продолжала я, — рождения, смерти, браки, придворную хронику, привычки птиц, Леонардо да Винчи, Сандхилльское убийство, большие оклады, стоимость жизни, да что ни возьми, — повторила я, — в «Таймс» найдешь все». И вновь она бесконечно утомленно качала головой из стороны в сторону, пока голова ее не замерла, точно юла, которой надоело вращаться.

От такого горя, как ее, «Таймс» не защититься. Но при других не очень-то поговоришь. Чтобы оградиться от жизни, лучше всего сложить газету аккуратным квадратиком, хрустящим, плотным — такой даже жизни не одолеть. Покончив с этим, я подняла глаза: теперь

я в безопасности — вот мой заслон. Заслон не помог; она пронзила меня взглядом так, словно выискивала в моих глазах хоть крупицу мужества, с тем чтобы обратить ее в прах. Одна ее чесотка чего стоила — она развеивала все надежды, рассеивала все иллюзии.

И так мы с грохотом промчались по Суррею и пересекли границу Суссекса. Изучая жизнь, я не заметила, как остальные пассажиры вышли один за другим и мы — если не считать мужчины, читавшего газету, — остались одни в купе. А вот и станция Три Моста. Поезд пополз вдоль платформы и остановился. Выйдет ли здесь наш попутчик? Я сама не знала, о чем молить, — и в конце концов помолилась, чтобы он остался. И в ту же секунду он поднялся, небрежно скомкал газету, явно отслужившую свою службу, распахнул дверь настежь и оставил нас наедине.

Бедняга наклонилась ко мне и завела тусклый, бесцветный разговор о том, какие станции мы проезжаем, как она отдыхала, о своих братьях в Истборне, о том, что зима в этом году — теперь уж не припомню — то ли ранняя, то ли поздняя. И наконец, выглянув в окно — но что она могла там увидеть? — только жизнь, — шепнула: «Уезжать из дому — хуже нет». Вот оно, сейчас выясним, что ее терзает! «Моя невестка, — горечь в ее голосе едкая, как лимон, — и, обратясь не ко мне, сама к себе, пробормотала: — Ей что ни скажи, говорит

«ерунда», и они за ней вслед», — а меж тем она ежилась так, словно у нее спина в мурашках, как кожа у ошипанной курицы в витрине мясной лавки.

— Ну и корова! — судорожно прервалась она — можно было подумать, будто огромная тупая корова, пасущаяся на лугу, напугав ее, спасла от излишней откровенности. Дальше она передернулась, а дальше так же неловко, как и прежде, вывернула руку, словно у нее пекло или зудело между лопатками. И вновь мне показалось, что несчастнее ее нет женщины на свете, и вновь я попрекнула ее, хоть и без прежней убежденности: ведь будь ее несчастья не беспричинны и будь их причины мне известны, тогда ее нельзя осуждать.

— Невестки, они... — начала я.

Губы ее сжались, словно готовясь изрыгнуть хулу; и так и не разжались. Она лишь сняла перчатки и стала стирать грязь с окна. Терла с сердцем, будто хотела стереть навек, но что — пятно, заразу? И тем не менее, как она ни терла, пятно не поддавалось, и она откинулась назад, и вновь ее передернуло, и вновь рука ее потянулась к спине, оправдывая мои ожидания. Бог знает, что заставило меня снять перчатку и в свою очередь приняться тереть мое окно. Оно тоже было в одном месте запачкано. Но как я ни терла, грязь не сходила. И тут меня тоже передернуло; я потянулась рукой к спине. Ощущение было такое, будто кожа у меня от-

сырела, как у ошипанного цыпленка в витрине мясной лавки; между лопатками зудело, свербело, мокло, саднило. Достанет ли дотуда моя рука? Я украдкой вытянула руку. Она заметила это. По лицу ее мелькнула улыбка и скрылась — и какая насмешка, какая жалость сквозила в ней! Но она выдала, открыла свою тайну, заразила своей заразой; к чему теперь слова? Я откинулась на спинку в своем углу, заслонилась от нее, и, видя перед собой лишь холмы и лощины, серые и лиловые краски зимы, я разглядывала ее, проникала в ее тайну, проникала под ее нацеленным на меня взглядом.

Хильда зовут невестку? Хильда? Хильда Марш — Хильда, она цветущая, пышногрудая, степенная. Хильда встречает такси на пороге, держит деньги наготове. «Бедняжка Минни, до чего высохла, щепка щепкой, и плащ с прошлого года еще обносился. Но при двух-то детях больше от себя не оторвешь. Не надо, Минни, я приготовила; держите... не на ту напали, водитель. Проходи, Минни. Да я б и *тебя* внесла, не то что твою корзину. — И они проходят в столовую. — А вот и тетя Минни, дети».

Кулаки с зажатыми в них ножами и вилками медленно опускаются. Они (Боб и Барбара) сползают со стульев, чинно тянут руки и опять заползают на стулья; куснут и тарашатся, куснут и тарашатся. [Но мы пройдем мимо; мимо безделушек, фарфорового блюда в листиках

клевера, желтых прямоугольников сыра, белых квадратиков печенья — мимо, впрочем, нет, погодите-ка! Посреди обеда она вновь передергивается; Боб, так и не вынув ложки изо рта, тарашится на нее. «Скорей доедай свой пудинг, Боб»; и все же Хильда недовольна: «И чего бы ей корезиться?» Мимо, мимо, напрямиком к лестнице наверх; ступеньки обиты медью; линолеум исшаркан; и вот наконец — спаленка с видом на истборнские крыши — зигзагами, как гусеницы, бегущие туда-сюда полосы красного, желтого, крытые иссиня-черным шифером.] Ну вот, Минни, дверь заперта; Хильда, грузно ступая, спустилась в подвал; а ты отстегиваешь ремни на корзине, раскладываешь на кровати жалкую ночную рубашку, ставишь рядом войлочные тапочки с меховой опушкой. Зеркало — нет, ты не смотришься в зеркало. Аккуратно откалываешь булавки от шляпы. А вот и ракушечная шкатулка, интересно, что в ней? Ты трясешь ее; жемчужная запонка, та же, что в прошлом году, — только и всего. Дальше чихаешь, вздыхаешь, садишься у окна. Три часа дня, на дворе декабрь; сеется дождик; один огонек светится совсем низко под стеклянной крышей большого галантерейного магазина; другой повыше, в комнатушке прислуги — этот, второй, гаснет. Смотреть больше не на что. Минутный пробел — о чем ты думаешь дальше? (Дай-ка гляну на скамью напротив; она дремлет, а может быть, и прикидывается;

так вот, о чем бы она могла думать, сидя у окна в три часа дня? О здоровье, о деньгах, о горах, о Боге?) Да, да, примостившись на краешке стула, Минни глядит вверх истборнских крыш и молится Богу. Вот и отлично, и еще она может протереть стекло, чтобы лучше видеть Бога, только какого Бога она видит? И кто Бог Минни Марш, Бог истборнских задворок, Бог трех часов пополудни? Крыши я тоже вижу, вижу и небо, но вот узреть Бога! Скорее походит на президента Крюгера, чем на принца Альберта, — ничего лучше я не могу предложить; я вижу — вот он сидит на стуле в черном сюртуке и не так уж высоко; облако-другое я, пожалуй, могу расстараться — нужно же ему на чем-то восседать; дальше в руке его, возлежащей на облаках, появляется жезл — или это дубинка? — черная, толстенная, шишковатая, он нравный старый самодур, Бог Минни Марш! Не он ли наслал на нее зудеж и свербеж невтерпеж? Следы греха, вот что она стирает с окна. Ну конечно, на ее совести преступление!

Преступлений так много — только выбирай. Мчатся, мелькают леса — летом здесь залиловуют колокольчики; придет весна, и там, в прогале, запестреют примулы. Здесь — верно? — они расстались двадцать лет назад. Нарушенный обет? Нет, это не для Минни!.. Минни — верная душа! Как она заботилась о матери! Все свои сбережения спустила на надгробье... венки под стеклянными колпаками... нарциссы в кув-

шинах. Но я отвлеклась. Преступление... Они сказали бы, что она затаила горе, загнала вглубь свою тайну — тайну пола, так сказали бы они, ученые мужи. Но что за вздор взваливать на *нее* еще и проблемы пола! Нет... скорее так. Двадцать лет тому назад, когда она шла по кройдонским улицам, блеснув в электрическом свете, лиловые ленты за зеркальным стеклом галантерейной лавки приковали ее взгляд. Она замешкалась у витрины — уже седьмой час. Если припустить побыстрее, можно еще поспеть домой. Протиснулась в крутящуюся дверь. Торговля в разгаре. На лотках пенятся ленты. Она замирает, тянет к себе эту, шупает ту, с тисненными выпуклыми розами. Не надо выбирать, не надо покупать, и каждый лоток таит в себе новые соблазны. «Мы закрываем только в семь», — уже семь. Она бежит, летит, спешит, и вот она дома — слишком поздно! Соседи — врач — братишка — чайник — ошпарился — больница — умер — или только испуг и раскаяние? Ах, да не важны мне подробности! Важно то, что теперь ей не избыть пятна, греха, вечной вины — вот она, между лопатками! «Да, похоже, — подтверждает она кивком, — так все и было».

Было или не было, и что было, какое мне дело; не в том суть. Лиловые ленты в лавке галантерейщика — этого достаточно; пусть пустяковое, пусть избитое, хоть преступлений так много — только выбирай, но большинство (дай-ка я еще раз брошу взгляд на ска-